



Яков ОКУНЕВ

Тихий бой

Мы стоим у П. в глубоких траншеях; траншеи крыты сверху бревнами, от которых пахнет еще свежей сосновой смолой. Сквозь амбразуры между бревен голубеют клочки неба; день такой хороший, светлый и теплый, что кажется, будто здесь не война, будто так солдаты собрались на вольном воздухе потолковать о разных своих, частных делах.

А даль гремит ударами пушек и частой трескотней пулеметов, и завтра, а, может быть, сегодня ночью мы будем в бою, потому что со всех сторон стягиваются воинские части, проехал кавалерийский отряд, за ним другой, третий, а там потянулись казаки, едут без песен к лесу и занимают невидные нам отсюда позиции. Слева у деревни Г. окапываются пришедшие за ночь две дивизии, саперы проводят телефон к штабной квартире, слышны четкие в чистом воздухе удары молотков и едва уловимый, глухой, как гул потревоженного улья, говор десятков тысяч людей, собравшихся сюда со всех сторон, чтобы выбить австрийцев из П.

У неприятеля, под П., происходит то же самое. Отсюда видны передвижающиеся с места наместо темные прямоугольники войск, слышны удары, треск, гулкий грохот, словно перекатывают по мостовой что-то тяжелое: это едет артиллерия, парки¹ и обозы.

Вчера ночью над нашими позициями летал неприятельский аэроплан и освещал нас прожектором, стараясь, очевидно, выяснить наше расположение.

— Как бы не так, — сказал мой сосед по траншее, солдат Петряев. — Как бы не так. Найдет он нас, когда мы, как кроты, врылись в землю. Он ищет так, а настоящие окопы вон где. Окопы так искусно устроены, что сливаются с фоном местности и найти их не то что ночью, но и днем очень трудно человеку, незнакомому с их расположением. Это несколько рядов длинных и глубоких канав, соединяющихся друг с другом, местами крытых землей и бревнами, местами открытых; это

целый земляной или, вернее, подземный военный лагерь, с улицами, улочками и переулками, в которых расположены по землянкам штабные квартиры, телефонные станции, ротные команды, даже доходные канцелярии и лазареты. За месяц пребывания здесь солдаты успели так прочно устроиться тут, что завели даже «баню», т. е. землянку, в которую приносят жар на железном листе и которая нагревается так, что можно мыться в ней. И по доброму русскому обычаю, Демидов и Логов в прошлую субботу, накалив несколько камней и облив их горячей водою, взятой у ротных котлов, парились, возились и орали в «бане» до тех пор, пока их не выгнали оттуда. Положим, возни и крику было там больше, чем дела, — в землянке-«бане» была одна «видимость» пара, но солдаты делали вид, что это на самом деле, и кричали:

— Поддавай, брат, пару!

— Окачивай, окачивай, охо-хо!

И вышли оттуда счастливые сознанием, что побывали в бане.

— С легким паром, Логов, — шутили солдаты.

— Ты бы рыло помыл. Гляди, вся рожа в глине.

— Чтой-то покурить хочется после бани-то, — говорил Логов, испытывающий блаженство «после-банного» состояния. — У кого бы это корешков достать?

— Пойди на Медлинскую. Там, брат, корешков — хочу не хочу.

Солдаты дали каждой траншее имя, словно улицам, по находящимся там полкам, ротам и частям. Есть «Медлинская», «Лазаретная», «Казачья» траншеи, есть «Обжорная площадка» — названная так оттого, что там ротные кухни. И солдаты ориентируются в своем подземном лагере, как в городе, где все распланировано, все на своем месте.

— Эй, землячек, как тут пройти в пятую роту?

— В Серпуховской траншее, первая направо.

— А где она, Серпуховская траншея?

— Да что ты, внове что-ли-ча?

— Вчерась пришли.

— Идя прямо. Так носом и уткнешься в Серпуховскую-то.

Солдат любит устраиваться со всеми удобствами. Сначала здесь были на скорую руку сделаны окопы, но мы задержались на этом месте, — сражение, постепенно развивавшееся по всему фронту, приняло характер позиционного боя, и окопы превратились в сеть рвов — улиц и переулков, захватывавших все большее и большее пространство по мере того, как прибывали новые части. Потом устроили землянки, в землянках земляные «норы», приладили двери, сорванные с халуп покинутых окрестных деревушек. В офицерских землянках имеется даже мебель — столы и табуреты, на славу сделанные солдатами.

Спускается ясный, тихий вечер. Прошла перекличка, жизнь в земляном городе затихает, затихли выстрелы со стороны правого фланга неприятеля.

Старик-фельдфебель рассказывает в кружке солдат, как в его время воевали. Он был на двух войнах: на турецкой и японской, и никак не может примириться с современной техникой войны.

— В мое время, ребята, бывало, идут, скажем, в атаку, командиры на конях, солдаты плечом к плечу, барабаны бьют, и шагает строй, ровно на ученьи. Теперь вот шаг быстрый, солдат жидкий пошел, не марширует, а идет рысцой, а тогда... Скомандуют: ра-аз! Таково медленно и протяжно. Строй подымет ногу и ждет: два-а! То-то. И в бой шли как! В открытую, честно: бей — и я буду бить; кто сильнее, тот верх и возьмет. А то теперь хитрости пошли, фигли-мигли разные, не то война, не то кадриль на поле сражения. Эх хе-хе!

И как бы в подтверждение его слов, что теперь «фигли-мигли», вдали над лесом вспыхивает красный световой сигнал. Это у неприятеля, — там готовится что-то.

Тихая команда заставляет нас бросить разговоры, идти по местам, выстроиться у стен траншеи и ждать, В выемке траншеи командир приник к телефону, принимает приказания. На улочках и переулках нашего «города» забегали желтые, красные и синие огоньки. Части сигнализируют друг другу.

— По двое в ряд! — тихо передает командир полуротному.

Команда отдается вполголоса. Люди выстраиваются, и ползет длинной змеею, рота за ротой, полк по извилинам траншей.

Значит, наступление. Бесшумное, тихое; не звякнет винтовка, чуть слышен мерный по привычке шаг, да краснеет огонек сигары полуротного, который, выйдя на открытое место, тушит ее и прячет в коробку.

Вот оно, вот настоящее. Через несколько часов будет бой, опять загремят пушки, застрочат пулеметы, от которых мы успели отвыкнуть за месяц мирного сиденья в нашем земляном городе.

Полки разбиваются на отряды, и каждый отряд отходит в другую сторону, и чем ближе к месту предстоящего боя, тем меньше людей связаны общностью, материальной близостью: рассыпаются во все стороны небольшие отряды по сто-полтораста человек, и каждый идет к невидимой, но общей для всех цели, туда, где мелькают таинственные красные огоньки сигналов.

В нашем отряде всего пятьдесят человек с поручиком В., еще юношей. И поручик, и мы с начала идем по топкому болоту, потом ползем.

Залегли в овраг, почти на виду неприятеля. Оттуда, из-за насыпи, находящейся в нескольких десятках сажен от нас, слышен гул голосов, видно, как вспыхивают полосы переменного света, а потом, совсем близко, так, что, протянув винтовку, можно достать их, проходит мимо нас сторожевой австрийский отряд. И, пройдя мимо и обрызгав нас грязью, но не заметив нас, притаившихся на дне оврага, уходит за насыпь.

Удар пушки. Еще один. И сразу заговорили неприятельские батареи. Бьют по нашим оставленным траншеям, подготавливая атаку. Ядра проносятся над нашей головой: яркие комья огня.

— Раздери его душу! — ругается Логов вполголоса. — Разнесут нашу работу. Он чувствует потребность «отматюгаться».

— Оно, быдто, легче, когда выругаешься.

Хотя ни один снаряд не может попасть в нас, потому что они бьют по нашим траншеям, но страшно лежать под пролетающим с визгом, стоном и грохотом стальным дождем. И оттого, что страшно, Логов, хотя бы шёпотом (громко нельзя) «матюгается», Фридлянд бурчит что-то в нос, другие, стиснув винтовки, глядят, не отрываясь, на небо, где перекрещиваются ярко-красные полосы огня.

Вдали вспыхнул, наконец, сигнальный огонь. Теперь можно.

— Вставай, ребята! Рассыпья!

Спотыкаясь, бегут люди, бегут молча, все ближе и ближе к неприятельской насыпи.

— Р-р рах! — раздаётся оттуда залп.

Пули свистят над головой. В темноте не видно, задели ли они кого-нибудь из нашего отряда, но видно, что нас становится вдруг больше вдвое, втрое. Из каждой ложбины, из-за каждого кустика вдруг появляются темные молчаливые фигуры и, пригнувшись, перебегают с места на место. И только у самой неприятельской насыпи, там, где ружейная пуля теряет свою меткость и летит через голову, вдруг из отдельных людей вырастает строй, и так же молча, как раньше, бросается к траншее неприятеля и, ворвавшись туда, не кричит, а гремит, сотрясая дали, что-то хаотически гулкое, похожее на крик остервенения:

— А-а-а!

— О-о-о!

— Бей, бей, бей!

Логов дерется рядом, и это он, кажется, выкрикивает это исступленное «бей-бей», работая прикладом, как цепом. Или, может быть, это Осадчук, у которого мундир изодран в клочья, а лоб рассечен, орет, пронзая венгерца, во все горло.

И вдруг крик и лязг, стоны и рев сразу обрываются и становится совсем тихо; слышно только, как тяжело дышат усталые люди, и вдали, постепенно замирая, гремят выстрелы. Впереди — пустота, некого бить, потому что те, кого били, лежат или ушли.

— Шабаш? — словно не доверяя себе, спрашивает Логов.

— А, ну да, — отвечает ему кто-то из темноты.

— Уцелел, брат! — радостно говорит еще кто-то. — Вот только рожу поцарапали маленько.

— Шабаш? — опять спрашивает Логов.

И поняв, что действительно «шабаш», снимает фуражку, глубоко вздыхает и широко крестится...

Паровоз «Б. 47»

В двадцать лет службы на железной дороге Иван Петрович до того изучил свой участок, что мог вести поезд, закрыв глаза. Он прекрасно знал профиль дороги, каждую выемку, каждый мостик, знал капризы и причуды своего старого паровоза «Б. 47», к которому привык, как к живому существу, и любил его. Товарищи Ивана Петровича, ездившие по другим участкам и линиям с новенькими паровозами последних систем, называли машину Ивана Петровича старой клячей, но к этой «кляче», которая дребезжала, стонала и хрипела, взбираясь на откосы дороги, Иван Петрович привык, и если бы ему предложили ездить на такой «цацке», на которой ездил хотя бы Сергеев, он, право, отказался бы от службы.

Когда Иван Петрович был еще молодым помощником машиниста, паровоз «Б. 47» был также молод и блестел на славу своими никелированными и медными частями. Вместе со своим паровозом старелся Иван Петрович, все события в его жизни, все радости и печали были связаны с этой машиной. На втором году службы, когда на его паровозе испортился золотник и его пришлось два дня ремонтировать, Иван Петрович женился на Анне Кондратьевне; через год, когда едва не произошло крушение из-за того, что стрелочник № 5 неверно перевел стрелку, родился Мишутка; спустя два года после этого события Иван Петрович купил хуторок на третьей версте подъездного пути к полустанку Красностав.

Это был прекрасный хуторок с рощицей, с огородом и тремя десятинами пахотной земли. Летом домик Ивана Петровича надевал зеленый убор из гирлянд дикого винограда, сверкала речка сквозь просветы березовой рощи, и, когда машинист подъезжал к семафору, его встречали жена и сын, которые издали узнавали его паровоз по ярко-желтому знаку «Б. 47».

В последние два года колеса паровоза часто буксовали, парораспределитель капризничал, и Ивану Петровичу приходилось подолгу возиться со своей машиной. К хрипению и гудению прибавился новый звук, стонущий и протяжный, к которому Иван Петрович никак не мог привыкнуть.

— Старички мы с тобою, брат! Пора нам на покой! — качая головою, говорил он, но потом встряхивал своими когда-то черными, как смоль, а теперь серебряными кудрями, — э, да ничего! Треснутый горшок два века живет. Мы еще поедем, старина!

В звездную июльскую ночь Иван Петрович вез партию быков к границе. На станциях и полустанках поезд стоял подолгу, и старик-купец Василий Яковлевич Петухов, которому принадлежала эта партия, и которого Иван Петрович знал много лет, выходил из себя. Он убеждал Ивана Петровича сократить стоянки или, по крайней мере, ускорить ход, совал ему деньги и раза два даже поил его водкой.

— Ведь подохнут быки, подохнут, душа моя. Припустите, голуба, ходу!

Иван Петрович пил с купцом водку, крякал, но больше восемнадцати верст в час не делал.

— Помилуйте, Василь Яковлич, машина ведь у меня одна? А быкам, право слово, ничего не сделается.

На станции Отрадная поезд Ивана Петровича перевели на запасный путь. Петухов бегал к начальнику, к старшему телеграфисту, даже к кассиру и весовщику, но те только пожимали плечами и отвечали, что до получения особого распоряжения они не могут пустить шестой номер, который вез быков Петухова.

Иван Петрович завалился спать, а Петухов с горя ушел в поселок пить водку.

Около полуночи мимо станции, не останавливаясь, промчался поезд с притушенными огнями. В аппаратной быстро заработал телеграф, начальник станции метался из дежурной в аппаратную и обратно,нося куда-то красные бланки, а его чахоточная жена, уложив вещи, вышла на перрон со своими двумя заспанными девочками и вглядывалась в розовеющую даль, не идет ли поезд.

Иван Петрович проснулся. Он заметил тревогу на станции, видел, как промчались друг за другом четыре паровоза. На одном из них, «А. 8071», вместо знакомого машиниста Андрея Андреевича был кто-то в военной форме.

Когда Иван Петрович вышел на перрон, то увидел, что небо на западе залито кровавым заревом; горело далеко, но запах гари доносился утренним ветром сюда, и слышно было, как что-то странно и часто ухает, словно дровосеки рубят в лесу деревья.

— Где горит? Что это? — обратился Иван Петрович к жене начальника.

Та махнула рукою, сморщилась и заплакала. Глядя на мать, заплакали и обе девочки.

Иван Петрович не успел разобраться, в чем дело.

Тревога нарастала. Пролетел еще один поезд, без пассажиров и кондукторов, с одним машинистом на паровозе. В поселке загудел набат. Сильнее и слышнее рубили дровосеки на западе, за синим холмом, и, почувяв тревогу, заметались и заревели быки Петухова в вагонах.

К растерявшемуся и ничего не понимавшему во всей этой кутерьме Ивану Петровичу быстро подошел начальник станции и сказал:

— Отцепите паровоз, поезжайте на станцию Кресно. Нужно забрать подвижной состав. Живо! Помощника оставьте здесь.

— Как же я один заберу состав? В чем дело?

— Состав готов. Надо только прицепить паровоз.

— Но в чем дело?

У начальника сморщилось лицо, так же, как давеча у его жены. Он стиснул зубы и глухо сказал:

— Немцы!

Из одного этого слова Иван Петрович ничего не мог вывести. У него было много знакомых немцев; начальник службы движения, Франц Францевич Гольбах, тоже был немцем, но из этого ничего дурного не выходило.

— Немцы? — с недоумением повторял он, разводя пары. — Немцы? Ничего не понимаю.

Он поднялся на откос, миновал будку дорожного мастера.

С полей несся свежий аромат трав и, как всегда по утрам, пел где-то в вышине жаворонок, купаясь в золотых лучах восходящего солнца.

— Немцы? — еще раз повторил Иван Петрович и представил себе Франца Францевича, круглого бритого старика с трубкой в зубах. — Что они сделали, эти немцы?

Далеко грохнуло что-то, треснуло, заохало, словно случилось крушение поезда: полетел паровоз под откос и, напозая друг на друга, сбились вагоны, исковерканные толчком, разбитые в щепы.

Теперь Иван Петрович понял, что случилось какое-то несчастье, в котором виноваты немцы, — может быть, Франц Францевич. Не даром старик слыл чудаком и про него говорили, что он не совсем в своем уме. Надо было спешить, а тут как на зло, паровоз на шестой версте закапризничал. Он стонал и вздрагивал всем своим старым остовом, но ни за что не хотел взять подъем.

— Но, старина, но-о, — покрикивал Иван Петрович, словно паровоз мог его слышать. — Не шали, брат, не время.

Он застопорил машину, слез и осмотрел ее. Потом смазал маслом крейцкопфы¹ и цилиндры и подбросил угля.

Паровоз дрогнул и пошел.

— То-то, брат! Жрать захотел?

На станции Кресно не было, казалось, ни души: Иван Петрович заглянул в телеграфное отделение и отшатнулся. Два новеньких аппарата были разбиты вдребезги, на полу валялись изорванные бумажные ленты, бланки, какие-то бумаги, шкафы были раскрыты. В дежурной, на столе, лежала красная фуражка начальника станции, но его самого нигде не было.

Только в зале третьего класса Иван Петрович увидел живое существо. Это был станционный сторож Никита, глухой старик. Он забился в угол, за скамейками, и глядел неподвижным взором на Ивана Петровича.

Тот тронул его за плечо. Никита свалился на бок. В затылке у него зияла рана. Он был мертв.

«Немцы», — с недоумением и ужасом подумал Иван Петрович и бросился из станционного здания.

Шесть новеньких желтых товарных вагонов стояли на боковом пути. Чтобы прицепить паровоз к ним, нужно было долго маневрировать, переходя с линии на линию и всякий раз останавливаясь, чтобы самому перевести стрелку.

Оттого, что Никита был кем-то убит, что станция странно опустела, от виденного хаоса и разгрома в аппаратной и от непрерывного громыханья, которое слышалось уже совсем близко, у Ивана Петровича дрожали руки, ходуном ходило сердце в груди и захватывало дыхание. Дело не спорилось, и он провозился около часа, пока перевел паровоз на запасный путь. Теперь надо было перевести состав на главный путь, и тогда можно было уже тронуться в дорогу.

Хотя вагоны были пусты, но старый паровоз, шаливший еще в дороге, забуксовал. Колеса с шипением и визгом вертелись на одном месте, тяга не преодолевала трения, и дело было совсем плохо.

Из-за виадукса, сверкая штыками, показалась синяя колонна пехоты. Она шла, извиваясь как змея, по проселку, остановилась на несколько минут у шлагбаума и, перейдя полотно, направилась к станционному зданию. Иван Петрович, занятый возней у паровоза, ничего не видел и только тогда, когда кто-то окликнул его на непонятном языке, поднял глаза и застыл на месте.

Пред ним стоял белобрысый, худой и высокий офицер в зеленых рейтузах и странной, угловатой какой-то кепке и, размахивая руками перед самым его лицом, говорил что-то длинно и визгливо.

Только одно русское слово сказал офицер, и это слово понял Иван Петрович:

— Вези!

Теперь ему стало ясно все, что он видел: тревога в Отрадной, мчавшиеся паровозы с притушенными огнями, разгром в аппаратной и смерть сторожа.

Он вспомнил почему-то вдруг о своем хуторе, о Мишутке, об огненных головках подсолнечника в своем палисаднике и о старой гитаре, на которой во время отдыха между поездками любил тихо наигрывать грустное «Ой там за горою». Вспомнил он и о купце Петухове, о его быках, о таких мелочах, о которых теперь было совершенно не к стати вспоминать, и, обратившись к своему старому паровозу, тихо сказал:

— Ну, что ж, старина, надо умирать!

Синие солдаты в таких же странных шапках, как у их офицера, со смехом и шумом наполняли вагоны, а офицер твердит упорно, как дятел, одно и то же слово:

— Вези, вези!

Один солдат, очевидно добродушный малый, сел на тендере и подмигнул Ивану Петровичу: полезай, дескать. Иван Петрович быстро смекнул что-то в уме и стал на свое место, на котором стоял двадцать лет, на котором состарился и поседел.

Офицер одобрительно кивнул головой и направился к вагону, повторив по дороге:

— Вези!

* * *

Иван Петрович подбросил уголь в топку и посмотрел на манометр. Паровоз, словно поняв, что он задумал, резко рванулся вперед и застонал. Через несколько минут все будет кончено: в шести верстах от Кресно запасный путь заканчивается тупиком, там обрыв, крутой и страшный. Надо только развить наибольшую скорость хода и тогда...

В этом году пышно зацвел мак на хуторке Ивана Петровича, в саду завелись скворцы, которые так хорошо пели по утрам. В обрыве, у тупика, течет по камням бурливая речка. Однажды летом, купаясь, Иван Петрович чуть не утонул, втянутый водоворотом в яму.

Паровоз трещит и гудит, скрипят старые оси, сталкиваясь, гремят буфера и цепи, а манометр показывает высший предел давления, сейчас разлетится вдребезги котел.

Ветер свистит в ушах. Сзади, в вагонах, горланят солдаты, поют развеселую песню, в которой часто повторяются слова:

— Nach Warschau, nach Warschau!²

«В Варшаву? Руки коротки!» — подумал Иван Петрович и усмехнулся.

В сердце у него заныло.

— Старый товарищ, — тихо сказал он, оглядывая свой паровоз. — Умирать будем, — и заплакал.

Еще несколько секунд, и все это горланящее живое мясо превратится в безобразную кровавую грудку. Вот поворот, вот белый камень у дороги, а вот и первый извив речонки. Дорога идет по спуску теперь надо удвоить ход.

Иван Петрович повернул ручку. Стрелка прыгнула еще на несколько делений вперед. В котле подозрительно загудело. Иван Петрович подбросил в топку угля, закрыл глаза и, прижавшись к цилиндру, прошептал:

— Прощай, старина!

— Р-р-р, — ворчливо ответил ему паровоз.

— Прощай, прощай, прощай! — звенели болты, буфера и цепи.

У самого тупика Иван Петрович дал последний свисток. Сжатый пар, вырвавшись, тоскливо заплакал. Паровоз ударился на всем ходу о перекладину.

— Nach Warschau! — донеслось из задних рядов.

— А-а-яй! — леденящим душу криком ответили передние.

Паровоз, разбив перекладину в щепы, полетел в обрыв. И грохот и лязг, и замирающие стоны, и проклятья слились в короткий вой.

Груда щепок, колес, железных осей и исковерканных тележек лежала под откосом. И омытый пенящейся волною, желтел среди обломков номер паровоза «Б. 47».

Разведка

Стояли мы в то время в Галиции, у местечка М. Погода на редкость была хорошая, ночи короткие, быстролетные, светлые, даром что август месяц был уже на исходе. Не успеет заря угаснуть, как новая на востоке алеет. А по ночам на небе звезд, братца мои, сколько звезд! Ровно мак золотой на синем поле рассыпали.

Хорошо было бы этак, да скучища собачья. Место уж было такое проклятое! Пришли мы в местечко — ни души. Дома стоят растворенные, и лавчонки и все, а жителей — ни собаки: по лесам разбежались, спряталась. Потом начали они поодиночке выползать из нор своих. Придут, увидят, что стоят себе солдатики, ничего не трогают, стоят тихо, благородно, ну, и назад к своим. А к вечеру, смотришь, уже двое пришли, а там больше, больше, и опять вскорости населились дома, лавчонки открылись, торгуют. Стало как будто полегче: все же народ живой кругом, а не мертвые пустые дома. Однако все как-то не по себе: мимо стоянки нашей, по шоссе, идет войско: сначала пехота, артиллерия, а там казаки проехали. Идут с песнями, весело в дело идут, а мы на месте стоим да чаями пробавляемся — досадно! Поручик Васильков — мы его больше Оленькой звали: молоденький, зеленый, совсем девчонка, и краснеет, как девица, и губки малиновые — поручик мой стал даже по ночам пропадать, паненку приглядел себе, сидит с ней под яблоней над озером и шепчется по ихнему, по-польски: «пше» да «кше».

— Где же вы, сударь мой, ночевали? — спрашиваю.

А он молчит, да краснеет.

Словом совсем вроде как бы в лагерях стоим. А там бой идет, кровь льется, умирают. Ну скажите, не гнусно разве в такое время стоять на месте, да в шестьдесят шесть¹ с Николаем Андреичем, с ротным, резаться?

Однако Бог помог: получаю от командира приказ:

— Так и так, Сергей Петрович, возьмите вы, сударь, людей да пошарьте в лесу по ту сторону озера. Там, говорят, неприятельские разъезды показались.

Разведка, значит. И то ладно.

Собрал я на закате людей, вижу, идет Оленька.

Сам не свой парень, губы малиновые дрожат, в глазах слезы.

— Что же, — спрашивает, — меня вы с собою не возьмете?

— Куда вам, Оленька, — отвечаю. — Молоды вы еще, успеете. Это дело опасное, серьезное. Ни за что пропадешь.

— Нет, уж вы как там себе хотите, а взять меня должны. Милый, дорогой, Сергей Петрович, не откажите. Не забуду я вас, — говорит.

А сам-то дрожит, сам-то чуть не плачет.

— Ну, ладно, — говорю, — попрощайтесь с вашей Юзей и айда!

Я человек старый, волк матерой, нет у меня ни детей, ни жены, ни кола, ни двора. Одинокий человек. Трубку свою люблю, кашу родную обожаю, к солдату слабость имею, коли молодец шагает, да стрельбу знает — и больше никого и ничего.

Что же касается Оленьки, то этот — особая статья. Как такую девчонку, милягу такого не любить? Нежный он такой, фарфоровый, тонкий, на взбитых сливочках вырос — разве можно такого не жалеть? Пропадет ребенок, ежели не так что-нибудь, а особенно среди нас, армейских: такой уж мы народ, суровый народ — дратвой² шиты.

Четверти часа не прошло — прибежал Оленька. Сияет.

— Справился?

— Справился, — говорит.

— Ну, ладно, с Богом!

Ночь случилась темная, дождливая. Злющий ветер воет, кусается, словно собака с цепи сорвалась. Пять верст по колено в болоте отмахали, промокли, продрогли.

— Вам не холодно, поручик? — спрашиваю.

Этак нарочно официальным тоном спросил, чтобы не вообразил, что я с ним нянчиться стану.

— Нет, Сергей Петрович, хорошо мне.

Восторженный у парня вид, и голос звенит. Чувствую в голосе его гордость, что вот, дескать, Бог послал настоящее дело. А лицо его, вижу, побледнело: екает все-таки, должно быть, у парня сердце, да стыдно самому себе признаться. Дело знакомое — не проведешь. Сам в двух кампаниях был, не однажды под пулями, в мыслях, молился: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его». С непривычки необстрелянному страшно.

Вошли мы в лес. Темно — ни зги. Вокруг ели лапчатые стоят. Березки во тьме шепчутся, шуршит что-то. Может быть, дождик, а, может быть, Бог знает что. И вдруг — трах! Треснуло что-то.

— Лечь!

Прилегли в кустах, не шевелимся. Этак с полчаса лежали, слушали: тихо. Только на ноги — опять треск по лесу пошел, да какой! Ровно десяток медведей напролом лезут, по валежнику, косолапые, прут.

Шепнул ефрейтор людям:

— Не курить! Гасите!

Петрюков, хороший солдат, исполнительный — выругался даже:

— Ховается, черятка, ешь его мухи. Ну-ка, вылазь!

Поползли на животах по сырой траве. Чуть слышно оружие звякало, задевая камни, да пыхтел толстый ефрейтор.

— Ребенка рожает, что ли? — спрашиваю. — Чего сопишь, словно самовар тульский?

Затих.

Доползли мы до оврага. Светлее стало. Деревья расступились в этом месте, и небо немного очистилось.

Вижу, унтер Хвостов ко мне ползет.

— Что? В чем дело?

— Он храпит.

— Кто — он? Говори толком.

— Он, австрияк — то-есть.

— А ты почему знаешь, что он храпит?

— Слышно, ваше в-дие³.

Вслушался я. Сначала ничего не почувал, а потом, действительно, совсем близко, справа, слышу шорох этакой, как будто бумагой шелестит.

— Петрюков! Осторожно полезай вперед, узнай, кто там и сколько их.

— Слушаю!

Потонул в темноте Петрюков. Нету его.

Ждем четверть часа и больше. Петрюкова нет.

А время, как на зло, едва ползет.

Ну, думаю, пропал солдат. Даже выругался я: жалко человека.

— Эка разиня какая! Баба, а не солдат.

Вдруг вижу — фигура. Вскочил я от неожиданности.

— Кто?

— Я, ваше в-дие.

— Тьфу! Ну, что?

— Спят, ваше в-дие. Почивают.

— Сколько их — узнал?

— Точно так. Человек тридцать да три лошади.

— Часовые расставлены?

— Один. Гы! — смеется.

— Чего смеешься?

— Смешно, ваше в-дие. Часовой ихний, растяпа-парень.

— Именно?

— Я подле его прополз, а он ничего не слышал, звезды считал.

— Как это звезды считал?

— На небо смотрит и сопит. Они, немцы, все, как есть, звездочеты.

— Сергей Петрович, дорогой, — зашептал Оленька. — А что, если бы нам ахнуть на них? А?

Весь дрожит Оленька и жаром от него пышет. Эх, молодость, молодость!

Подумал я, взвесил обстоятельства: отчего бы не ахнуть?

— Вот что, — сказал я своим людям, — нас, братцы, восемнадцать человек, а их штук тридцать будет. Ну-ка, вперед. Но чур — не стрелять, не шуметь. Бери штыком, лупи прикладом, хватай живьем. Да часового наперед снять без шума.

И что это случилось, братцы мои! Ветер ли подхватил нас, волна ли взметнулась и нас бросила на врага вдвое сильнеешего. Часовой не пикнул, так и сел на бугорок, ружья из рук не выпуская, проколотый штыком. Растерялись, заметались австрияки. Ружья в пирамидах возле стоят, а они не знают, где что. По лесу мечутся, кричат:

— Die Russen! Die Russen!⁴

Ефрейтор, вижу, лупит по башке прикладом здорового детину, сопит и бранится:

— То-то, черт плешивый! Будешь ты помнить кузькину мать!

Десяти минут не прошло, как все было кончено. Двадцать человек австрийцев было убито, восемь взято в плен, остальные бежали в лес чуть ли не в одних, простите, подштанниках.

Ищу глазами Оленьку, нет его нигде.

— Где поручик?

Показывают:

— Вот.

Лежит Оленька под сосною, дрожит мелкой дрожью. Заколот его, мальчика, проклятый австриец.

Я наклонился над ним.

— Умираю, — шепчет. — Вот здесь, в боковом кармане... Расстегните... Засушенная роза... От Юзи. Пошлите ей... Дай вам Бог... дай Бог бить врага.

Вытянулся Оленька, вздрогнул и замер. Сняли мы фуражки. А мне к сердцу подступило. Сжал я крепко кулаки, погрозил я темному западу:

— Ну, уж погоди, немчура! Эх!

